



**Олег Пет
уборщица
Клеопатры.**

Олег Пет

Уборщица Клеопатры

<https://litres.ru/74219067>

SelfPub; 2026

Аннотация

Она моет полы в Нью-Йорке, чтобы не сойти с ума. В её голове — две тысячи лет воспоминаний. Она помнит Клеопатру, Марка Аврелия и Антония, который проиграл всё, кроме любви. Она не ищет славы. Она просто ждёт, когда кто-то посмотрит на неё не как на уборщицу, а как на человека, который несёт в себе больше правды, чем все музеи мира.

Это история о том, что прошлое не умирает. Оно ждёт в темноте, пока ты не решишь отпустить его. И о том, что иногда самое большое сокровище — не золото, а пыль под шваброй.

Олег Пет

Уборщица Клеопатры

ЭПИГРАФ

«Всё — лишь мнение. И смерть — лишь мнение о событии».

Марк Аврелий, «Наедине с собой», книга XII

Пролог

Я помню всё. Даже то, чего не было.

Это не хвастовство. Это проклятие, которое я ношу в себе дольше, чем люди помнят свои имена. Я помню, как пахнет утро в Александрии — хлебом, морем и страхом. Я помню голос Клеопатры, когда она смеялась над шутками Антония, и её же голос, когда она шептала: «Я боюсь, девочка. Я боюсь не смерти — я боюсь, что меня забудут». Я помню, как пахнет кровь на мраморных плитах и как остывает тело, когда душа уже ушла.

Но я помню не только то, что было. Я помню и то, чего никогда не случилось. Тени людей, которых могла бы любить. Слова, которые могли бы быть сказаны. Города, которые могли бы быть построены. Всё это живёт во мне, как живут мёртвые в памяти живых — с той лишь разницей, что я никогда не умираю.

Две тысячи лет я смотрю на этот мир и вижу, как он повторяется. Те же лица, те же ошибки, та же любовь, которая разбивается о стены власти. Я видела империи, которые рушились за одну ночь, и людей, которые умирали за одну улыбку. Я видела всё. И ничего не могла изменить.

Иногда мне кажется, что я не человек. Я сосуд. Пустой и полный одновременно. Внутри меня течёт Нева, Нил, шумит Тибр, плещется Гудзон. Внутри меня живут все, кого я любила, и все, кого я потеряла. Они говорят со мной по ночам, и я не могу их заглушить. Я не хочу их заглушать.

Всё началось в ту ночь, когда Клеопатра протянула мне фиалу из фарфора. Я не знала, что пью. Я думала, это яд. Я думала, она хочет избавиться от меня, как избавлялась от всех, кто знал слишком много. Но она смотрела на меня с той улыбкой, которую я запомнила навсегда, — улыбкой женщины, которая знает, что скоро умрёт, и хочет оставить после себя не тело, а память.

«Ты будешь моей памятью, — сказала она. — Ты будешь жить, когда меня не станет. Ты будешь помнить, когда все забудут».

Я выпила. Жидкость была холодной и обжигающей одновременно. Она проникла в меня не через горло, а через кожу, через глаза, через каждую пору. Я почувствовала, как мир становится больше, как времени становится больше, как я сама становится больше себя.

А потом я увидела её смерть.

Не ту, которую она выбрала. Ту, которая ждала её. Я видела, как она лежит на ложе, улыбаясь, и как змея скользит по её руке. Я видела, как я сама стою у двери, сжимая край занавески, и не вхожу. Потому что она велела не входить. Потому что она хотела уйти одна.

С тех пор я ношу эту память в себе. Каждое утро я засыпаю с её именем на губах. Каждую ночь я засыпаю с её голосом в ушах. Она не ушла. Она стала частью меня. Она стала моей вечностью.

Я помню всё. Даже то, чего не было. Потому что для меня нет разницы между тем, что случилось, и тем, что могло

случиться. Всё это — моя жизнь. Моя тень. Моё бессмертие, которое я не просила, но которое приняла.

И теперь, стоя на берегу Гудзона с короной в руках, я знаю: я могу отдать её воде. Но я не могу отдать память. Она останется со мной. Всегда.

Даже когда я перестану быть.

Нью-Йорк, 1956 год. Начало сентября.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ТУМАН НАД ГУДЗОНОМ

Глава 1. Новое утро в небоскрёбе

Четыре утра в Нью-Йорке ещё темно. Город лежит окутанный мглой, как усталый зверь, и только редкие огоньки такси скользят по мокрому асфальту. Анна выходит из подземки на Сорок второй. Ветром с Гудзон несёт сыростью и ржавчиной. Она не замечает холода вот уже лет двадцать — или две тысячи лет, смотря как считать.

На работе выдали синий халат. Безмолвный символ принадлежности к рабочему батальону. Он пахнет стиральным порошком и чьим-то потом. Анна натягивает резиновые перчатки — они велики, пальцы болтаются в них, как в прорванных парусах. В ведре — мутная вода, пахнувшая хлоркой. Она берёт швабру, и деревянная рукоятка ложится в ладонь так же привычно, как когда-то ложился посох, которым она подгоняла мулов в караване, идущем через пустыню к Красному морю.

Тридцать девятый этаж. Офисы «Голдман, и сыновья. Страхование». Здесь пахнет дорогим ковролином, кофе из машин и страхом — тем липким страхом, который оставляют после себя люди, когда звонят по телефону и ждут отсрочку по кредиту.

Анна трет тряпкой по полу. За окнами — город. Все тот же железобетонный и безразличный. Как и люди, которые начинают лениво выползать из подземки. Громады стекла и стали, похожие на обрезанные пальцы гиганта. Если зажмуриться можно представить, что это не Манхэттен, а Александрия в день приезда Цезаря. Те же белые колонны, тот же блеск, та же самоуверенность живых, которые ещё не знают, что уже мертвы.

— Миссис, вы не видели мой карандаш? — спрашивает

охранник. Молодой парень в чопорной форменной фуражке. Ему, наверное, двадцать. На несколько сотен веков меньше, чем ей.

Она усмехается.

— Вон там, у стойки, — говорит Анна, не оборачиваясь. Она знает, где лежит карандаш, потому что видела, как он выпал из кармана полчаса назад. Она вообще видит всё — привычка тех, кто смотрел на мир с высоты, где правители решали, кому жить, а кому стать прахом.

Парень искренне благодарит. Анна кивает. У неё лицо с мелкими морщинами, как паутина на старой фреске. Глаза — серые, тяжёлые, словно в них налита свинцовая вода. Никто не спрашивает её, откуда она родом. В Нью-Йорке на это наплевать. Здесь каждый — беженец из своего прошлого. И каждый сам за себя.

Она с хрустом отжимает тряпку. Вода становится серой, как небо над Тибром, когда она стояла на причале и смотрела, как римские галеры увозят останки Марка Антония. Тогда она тоже держала в руках тряпку — окровавленную, ею она вытирала лицо своей царицы. Клеопатра улыбнулась и сказала: «Ты запомнишь это, рабыня. Ты запомнишь, как пахнет проигранный мир. Мой мир.»

Анна нажимает на ручку швабры. Раздаётся скрип — тот же самый скрип, который издавала ось колесницы, когда они тайно везли гроб через пустыню. Ложная гробница. Пустой саркофаг. И лишь слова Марка Аврелия, которые она выучила потом, спустя сто сорок лет, когда оказалась при его дворе уже в другом теле: «Всё — лишь мнение. И смерть — лишь мнение о событии».

Он был прав, этот римлянин с больными глазами. Только вот мнение не лечит. Когда в твоей памяти помещается целая империя, каждое утро ты просыпаешься с ощущением, что мир обвалился, а тебя засыпало песком забвения.

В коридоре зажигается свет. Начинается новый день — люди начнут входить в лифты, вносить портфели, говорить о биржах, торгах и ценах. Они будут смотреть сквозь Анну, как сквозь прозрачную стену. Это ей тоже привычно.

Она доводит пол до матового блеска. В отражении мраморной плитки видит своё лицо — и на секунду ей кажется, что на месте отражения стоит та самая гречанка, что держала зеркало в последний час. Чёрные волосы, тонкие брови, в огромных глазах — отблеск кобры.

— Ты дура, — шепчет Анна своему отражению. — Просто дура. Копаешься в мусоре, намываешь полы, когда могла

бы указать пальцем на карту и стать богатой.

Она могла бы. Она знает место. Не то, которое ищут археологи с их лопатами и картами, а то, настоящее. Ту комнату, где нет саркофага, но есть стена с одной-единственной надписью. Надпись на коптском: «Она была здесь, пока не стала нигде».

Но Анна не скажет. Потому что иногда единственное, что остаётся у побеждённых — это способность молчать о том, что они знают. И это их гордость. Их честь.

Она выливает грязную воду в слив. Вода уходит с бульканьем, и в этом звуке ей слышится плеск Нила, когда они топили свой корабль, чтобы римляне не нашли их след. Тогда вода была тёплой, пахла илом и лотосами, и в ней отражались звёзды — такие яркие, что можно было считать их как песчинки. Анна стояла на берегу и смотрела, как корабль медленно уходит на дно, унося с собой запах мирры и страха. Теперь вода пахнет хлоркой и чужими трубами. Она холодная, ржавая, и в ней нет ничего, кроме отражения лампы на потолке. Анна смотрит на воду в ведре, и ей кажется, что она темнеет не от грязи, а от времени, которое растворяется в ней. Каждое утро она наливает свежую, и каждое утро она смотрит, как она становится мутной — как будто память окрашивает её в свой цвет. Она не узнаёт эту воду. И всё же

она не может отвести от неё взгляд.

Закончив уборку, она садится на подоконник. Достает папиросу — дешёвую, с табаком, пахнущим сентябрьским сеном. Закуривает. Затачивается глубоко и с удовольствием. За окном встаёт солнце — оранжевое, как песок в Фивах.

Первый луч падает на её ладонь, и Анна смотрит на эту полоску света, как на живое существо. Ей хочется плакать, тихо, но слёз нет. Она выплакала их ещё при Клеопатре. Потом при Аврелии. Потом в поезде, когда бежала из России и видела, как горит её дом — тот, который она любила в той далекой и некогда родной стране.

«Место захоронения — это не точка на карте, — думает она. — Это момент, когда ты выбираешь остаться с мёртвыми или уйти к живым».

Она тушит папиросу о подоконник. Внизу сигналият такси. Где-то играет джаз — звук доносится с улицы через открытую форточку. Саксофон плачет, как женщина, которая потеряла родину.

Анна встаёт и идёт к следующему этажу. Сороковому. Там тоже надо мыть полы.

Она не знает, что сегодня вечером в этом здании появится

человек с древним папирусом, и бегающими глазами, который перевернёт её тишину. Она даже не догадывается, что наконец-то встретит того, кто посмотрит на неё не как на уборщицу, а как на ту, которая несёт в себе больше пыли, чем все египетские музеи мира.

Анна просто берёт в руки швабру, потому что это единственное, что она умеет делать последние две сотни лет — продолжать жить не удивляясь.

она смотрит на небоскрёбы, которые просыпаются вместе с ней, и думает, что они похожи на надгробные плиты великанов. Только надписи на них стёрты — никто уже не помнит, кто их построил. Город дышит, как больной, который не знает, что болен. Он кашляет сигналами машин, хрипит старыми трубами, и его лёгкие — это подземки, которые глотают тысячи людей каждое утро и выплёвывают их вечером, не переварив. Анна стоит у окна и чувствует, как этот город дышит ей в спину, тяжёлый и влажный, как одеяло, которое никогда не сохнет. Она знает: он не умрёт. Он будет болеть вечно, как и она. Только она знает, что такое вечность. Город — нет. Он просто продолжает строить новые этажи, новые мосты, новые надежды, которые завтра станут такими же старыми, как те, на которые она смотрит сейчас. И в этом его сила — и его проклятие.

А за окном Нью-Йорк просыпается, великий и обречённый, как любая столица мира.

Глава 2. Тот, кто ищет

Сороковой этаж пахнет кожей, старым деревом и надеждами. Здесь не офис страховой компании, а кабинет частного коллекционера — мистера Гранта. Анна знает это, потому что убирает здесь по вторникам. Он платит отдельно, не через агентство. Наличными. Сто долларов в месяц. Неплохие деньги, которые она прячет под матрас, хотя и не знает, зачем.

Дверь приоткрыта. Внутри горит лампа с зелёным абажуром, как в библиотеках из прошлого века. Грант сидит за столом, сгорбившись, — стареющий мужчина с белыми, как слоновая кость, пальцами. Ему около пятидесяти. Он пахнет камфорой и азартом — тем опасным азартом человека, который всю жизнь искал то, что найти невозможно. Но он не сдаётся.

Анна входит с ведром. На полу — веером рассыпанные бумаги. Она наклоняется, собирает их. Краем глаза видит, что лежит на столе.

Папирус. Настоящий. Тёмный, потрескавшийся, с крас-

ными и чёрными значками, такими знакомыми, что у неё перехватывает горло. Она узнаёт эти знаки лучше, чем буквы русского алфавита. Локоть, змея, глаз — и три вертикальные линии, означающие «ложь».

Она застывает. Нервно сглатывает.

— Вы что-то увидели? — голос Гранта скрипит, как несмазанное колесо колесницы.

Анна не поднимает головы. Две тысячи лет научили её не выдавать чувств.

— Да это бумаги, сэр. Вы их рассыпали.

Она кладёт листы на край стола. Рука предательски дрожит — она прячет её в карман халата. Грант смотрит на неё поверх очков. У него водянистые глаза, но достаточно цепкие чтобы распознать ложь. Такие глаза были у римских чиновников, которые проверяли грузовые списки в порту Александрии.

Анна протирает пыль и тихо напевает мотив на коптском. Тот который так любила ее Клеопатра.

— Вы знаете этот язык, миссис?

— Нет, — отвечает она. Слишком быстро. Слишком гладко.

Грант усмехается. Он ставит локти на стол, подпирает подбородок.

— Четыре года я доказываю коллегам, что это не хроника Тутмоса, а послание. Возможно, от Клеопатры. Карта. Только я не могу прочесть третий столбец. Все говорят, это дефект папируса. А я знаю, это шифр. Нарочно. Кто-то не хотел, чтобы место нашли.

Анна зажимает тряпку в кулаке. Она знает третий столбец. Она сама выцарапывала его стилем двадцать веков назад. Там написано: «Путник, не ищи её там, где лежит камень. Ищи её там, где лежит тень».

— Удачи вам, сэр, — говорит она и выжимает тряпку с такой силой, что вода брызгает на пол и белеют костяшки.

Грант смотрит на неё. Вдруг говорит тихо, почти шёпотом:

— У моей матери была служанка из Одессы. Она рассказывала сказки. Однажды она сказала: «Все клады ищут не в тех местах». Я тогда был ребёнком. А теперь я старик. И мне

кажется, эта фраза — единственная правда в моей жизни.

Анна молчит. Она смотрит в окно — там, за стеклом, дождь. Нью-йоркский дождь, такой же серый, как море, когда они плыли в Рим.

— Давайте я все-таки возьму этот папирус с собой — вдруг неспешно молвит он. — Я к тому, что, если кто-нибудь зайдёт, скажете, я пошёл в библиотеку.

Она кивает. На самом деле она не собирается никого впускать. Ни в кабинет, ни к себе в душу. Она плотно закрывает дверь и будет стоять у неё, пока он не уйдёт. Потому что если он узнает правду — если он увидит в этом папирусе то, что скрыто, — ей придётся снова предать Клеопатру.

Но Грант улыбается и машет рукой:

— Идите, миссис. Полы не ждут.

Она выходит в коридор. Сердце бьётся так громко, что ей кажется — это топот солдат Красса, идущих по каменным плитам.

Она задерживается у двери, прислушиваясь к тому, что осталось за её спиной. Грант уже не двигается — только

слышно, как скрипит его кресло, когда он откидывается на спинку, и как постукивает по стеклу его пальцы, нервные, как у человека, который ждёт ответа, которого не получит. Где-то внизу, на улице, проехала машина — звук её двигателя был глухим, как дальний гром. Он поднялся с мокрого асфальта, просочился сквозь стены, сквозь бетон, сквозь время, и ударил в уши Анны, как напоминание: мир продолжается. Шаги в коридоре — чужие, быстрые, принадлежащие кому-то, кто спешит к лифту, кто не знает, что такое вечность. Гудок корабля на Гудзоне — низкий, протяжный, как голос старого священника, читающего отходную. Она слышит всё. Она всегда слышит всё. За стеной, где-то в соседнем кабинете, зазвонил телефон, и звук его был резким, как крик чайки над гаванью Александрии. Анна проводит пальцем по дверному косяку — дерево шершавое, в царапинах. Она знает, что они останутся здесь после неё, как и все эти звуки. Они не уходят. Они просто ждут следующего, кто их услышит.

Вечером Анна сидит в баре «У Тима». Грязноватое заведение на Второй авеню, где пахнет жареным луком и дешёвым виски. Она всегда садится в дальний угол, за столик у стойки. Заказывает стакан красного. Пьёт медленно, маленькими глотками, как будто это не вино, а воспоминание о том, что уже не вернуть.

На сцене — старое пианино. За ним сидит молодой человек в потёртом пиджаке. Его пальцы бегают по клавишам, но он играет странно — смесь джаза и старого русского романса. Анна узнаёт мелодию. Это «Я встретил вас» — но переложенное на современные ноты, с горькими аккордами.

Она закрывает глаза. В ушах — не джаз, а флейты в садах Канопа. И голос Клеопатры: «Ты слышишь, моя девочка? Это играет сама смерть».

Пианист заканчивает. Смотрит в зал. Ищет одобрения. Замечает Анну — она сидит с закрытыми глазами, и он видит, как по её лицу пробегает тень. Он подходит.

— Русская? — спрашивает он. Голос мягкий, с хрипотцой.

Анна открывает глаза.

— Была.

— Я Лев. Тоже был. Теперь — здесь, никто.

Он садится напротив. Заказывает две порции бурбона. Анна смотрит на его руки — длинные, тонкие пальцы, как у

неё самой. Такие пальцы были у переписчиков в библиотеке, где она работала при Аврелии.

— Вы сегодня убирались в небоскрёбе? — спрашивает он.

— Откуда вы знаете?

— Пахнет хлоркой. И ещё чем-то старым. Может, пылью веков той которая из библиотеки

Анна смотрит ему в глаза. Тёмные, с искоркой. Он тоже многое видел, но не две тысячи лет. Он просто беженец, который потерял родину, дом, жену или мечту. Это чувствует-ся на расстоянии.

— Я убираюсь на сороковом этаже, — говорит она. — У коллекционера Гранта.

Лев кивает.

— Грант, знаю — странный человек. Он приходил сюда как-то, говорил о музыке древних египтян. Спрашивал, знаю ли я мелодии, записанные на папирусах. Я не знал. Я играю только то, что родилось в России и умерло здесь в Америке.

Анна улыбается. Впервые за день. А может за последний

век.

— А вы знаете, что такое настоящий саркофаг? — спрашивает она вдруг.

Лев молчит.

— Это не дерево и не камень, — продолжает она. — Это образ того человека, который помнит.

Она допивает вино. Встаёт. Он смотрит на неё с недоумением, но не останавливает.

— Приходите завтра, — говорит он. — Я сыграю вам что-то, чего вы ещё не слышали.

Анна останавливается у двери. Дождь барабанит по стеклу. Снаружи — сияние города, такой же ложный блеск, как огни маяка в Фаросе, когда она стояла там и ждала корабль, который так и не пришел.

— Хорошо, — говорит она. — Завтра.

Она выходит под дождь и идёт пешком до своей комнаты. Пара кварталов. Холодные капли стекают по лицу, смешиваясь с тем, что она отказывается называть слезами.

По пути она думает о Гранте и о Льве. Два человека, два мира. Один ищет интерес в её прошлом, другой — в её настоящем. А она сама не знает, кому из них придется солгать первой.

Дома она раздевается, ложится на жёсткий матрас и смотрит в потолок. Там трещина — похожа на карту Нила. Она следит за ней взглядом до поворота, до того места, где в прошлой жизни стоял её дом.

— Прости, — шепчет она в пустоту. — Прости, что я не сказала ему правду. Но ты сама учила меня: правда убивает быстрее кинжала, быстрее яда змеи.

За окном гудит город. Где-то в ночи сигналил корабль. Анна закрывает глаза и снова видит пустыню, верблюдов и чёрную фигуру женщины, которая улыбается ей и манит за собой.

Она не хочет идти. Но и не может не пойти.

Так заканчивается ещё один день её бессмертной жизни в городе, который тоже однажды станет руинами.

Перед тем как закрыть глаза, она поднимает голову и смотрит в потолок. Там, над кроватью, идёт трещина — тон-

кая, извилистая, как забытая река. Она начинается у лампы, тянется к углу, делает поворот, и в этом изгибе Анна видит Нил. Она видит его каждый вечер. Она смотрит на трещину и мысленно рисует на ней карту — сначала Александрию, потом Каноп, потом поворот у пирамид, потом пустыню. Она проводит пальцем по воздуху, повторяя изгибы реки, и чувствует, как время замедляется, как город за окном перестает шуметь. Трещина не меняется. Она всегда одна и та же. Но Анна видит в ней разные вещи: иногда это путь домой, иногда путь прочь, иногда — просто вода, которая течёт, не спрашивая разрешения. Она смотрит до тех пор, пока глаза не начинают слипаться, и тогда она позволяет себе закрыть их. Трещина остаётся в темноте, как след, который нельзя стереть. И каждое утро она просыпается с этим следом в голове. И каждое утро она знает: Нил всё ещё течёт. Только не здесь.

Глава 3. Человек, который родился

Эдвард Грант родился в 1910 году в Бостоне, в семье, где деньги пахли хлопком и человеческим потом, но сам он предпочитал запах старой бумаги и пыли раскопок. Египет вот что по-настоящему интересовало его. Отец хотел видеть его банкиром, мать — дипломатом, но в восемнадцать лет Эдвард сбежал в Европу с рюкзаком и потрёпанным издани-

ем «Истории Египта» Брестеда.

Он не пошёл в бизнес. Он пошёл в археологию.

В Париже, на бульваре Сен-Жермен, он наткнулся на лавку грека с золотым зубом торговца антиквариатом. Тот предложил купить ему папирус — счёт за зерно, ничего интересного. Но Грант заметил под текстом стёртые коптские буквы. Он знал коптский — выучил сам, по словарям, в бессонные ночи.

На папирусе было написано: «Та, что носит кобру, умерла дважды, но живёт в памяти одной».

Грант купил папирус за пять франков — последние деньги, которые у него были. С тех пор он не мог остановиться. Он прочёсывал библиотеки, музеи, частные коллекции. Сидел там часами напролет. Он писал письма профессорам, которые не отвечали. Он стал тем чудаком, о котором говорят: «Этот парень помешан на Египте и Клеопатре».

— Ты ищешь иголку в стоге сена, — сказал ему однажды наставник в Сорбонне. — Гробница Клеопатры — миф. Её нет. Многие искали уже.

— Нет, — ответил Грант. — Она есть. Просто мы не там

ищем. Я уверен.

Ему было двадцать пять, когда он впервые приехал в Нью-Йорк. У него не было денег на экспедиции, но был ум, молодость и одержимость. Он устроился ассистентом в Метрополитен-музей, получал гроши, но зато имел доступ к хранилищам. По ночам он разбирал ящики с египетскими древностями, вдыхал запах нафталина и думал о царице.

В 1938 году, когда Гранту исполнилось двадцать восемь, он купил тот самый папирус с тремя столбцами. На этот раз — у бедуина в Каире, в грязной лавке за базаром. Бедуин сказал: «Там змеи, эфенди. И одна — с короной». Грант не испугался. Он заплатил все свои сбережения — пять тысяч долларов, занятых у отца под честное слово.

Вернувшись в Нью-Йорк, он снял небольшую контору на сороковом этаже небоскрёба — не кабинет, а жильё и мастерскую. Он расстелил папирус на столе, зажёл лампу с зелёным абажуром и начал читать.

Три столбца. Два — понятны. Шрифт хоть и поистерся, но читался легко. Третий — шифр. Он ломал голову четыре года. Перепробовал все варианты: анаграммы, перестановки, подстановки. Ничего. Каждый раз получалась бессмыслица: «Камень ложится на тень, где солнце не лжёт» или «Ищи под

пальмой, что не растёт».

Он не знал, что единственный ключ, который так ему нужен — в женщине, которая каждое утро моет полы в этом самом доме, в его конторе.

Грант впервые заметил Анну через год после того, как она начала убираться у него. Он сидел за столом с лупой и вдруг поднял голову — она стояла в дверях, с ведром, и смотрела на папирус. Всего секунду. Но в этой секунде было столько напряжения, что он почувствовал: она знает. Она точно знает.

Он не сказал ни слова. Он был осторожен. Археологи привыкли ждать — слои почвы, пески и древние манускрипты не торопятся открывать тайны. Он просто стал наблюдать. Ждать подходящего момента.

Она двигалась бесшумно, и грациозно как тень та, что не привыкла к грубой работе. Её руки — тонкие, с длинными пальцами — двигались с точностью, которой нет у обычных уборщиц. Ее взгляд был слишком быстрым. Он заметил, что она никогда не смотрит на стены, где висят карты, но всегда задерживается у стола с папирусом. Стоит и внимательно

рассматривает его.

Однажды он спросил её:

— Вы русская?

— Была, — ответила она.

— Из каких мест в России?

— Из тех, которых больше нет.

Он замолчал. В её голосе было что-то такое, от чего у него по коже побежали мурашки. Не страх, а тихое узнавание. Как будто он слышал этот голос раньше — в книге, во сне, в другой жизни.

— Державу? Но где? Когда?

В тот вечер Грант не спал. Он сидел у окна, курил сигарету за сигаретой и смотрел на город. Огни Манхэттена мерцали, как свечи в храме.

— Глупость, — сказал он себе. — Она просто эмигрантка. У неё тяжёлая жизнь. Она устала. Она не может знать. Ничего.

Но он чувствовал, что она врёт. Усталость не делает глаза такими — серыми, тяжёлыми, как старый свинец. Усталость не даёт человеку смотреть на папирус так, будто он написан её собственной рукой. Как будто знаком с ним уже не одну тысячу лет.

Он решил проверить. Через неделю он оставил на столе записку — на коптском. Простую фразу, которая пришла в голову: «Кто ищет, тот найдёт».

Она вошла, увидела записку, прочитала. Взяла карандаш и написала под ней быстро и просто: «Тот, кто помнит, найдёт».

Потом она ушла, не обернувшись.

Грант нашёл записку через час. Он смотрел на эти слова, и сердце его билось так, будто он откопал саркофаг Клеопатры. Он понял: она знает. Не просто догадывается — знает. И это точно.

Он хотел бежать за ней, спросить, умолять. Но что-то остановило. Он понял: если спросить прямо, она уйдёт. Навсегда. Нужно было ждать. Иначе все потеряно.

И он ждал. Каждый вторник она приходила, мыла полы, и они обменивались взглядами. Он видел в её глазах страх — не перед ним, а перед тем, что он может узнать. Она боялась не за себя, а за кого-то другого. За ту, кто был мёртв вот уже две тысячи лет.

Это бесило его. И восхищало. Одновременно. Он всегда искал сильных женщин — Клеопатра была сильной. Анна была сильной. И он понял, что влюбился. Не в уборщицу, нет. В ту, кто нёс в себе больше тайн, чем весь Египет.

В тот день Грант сидел за столом и ждал её. Он знал, что она придёт. Он специально разбросал бумаги, чтобы она наклонилась — и он увидел её лицо над папирусом. Тогда все станет ясно.

Она вошла. Он спросил:

— Вы знаете этот язык, миссис?

— Нет, — ответила она. Слишком быстро. И спрятала глаза.

Он усмехнулся. Внутри всё кипело, но он сдержался. Он

рассказал ей о папирусе, о поисках, о своей бессоннице. Она слушала молча, отвернувшись к окну и он видел, как дрожит её рука, сжимающая тряпку.

После её ухода он подошёл к окну. Нью-Йорк лежал внизу, серый и дождливый. Он закурил сигару — дешёвую, крепкую — и сказал в пустоту:

— Ты не знаешь, но я уже нашёл. Не гробницу. Тебя. Ведь это ты. Я знаю.

Он не умер в тот день. Он не умер в тот год. Он продолжал жить, ждать и надеяться. Потому что археологи знают: самое важное открытие случается не тогда, когда ты выкапываешь клад, а когда понимаешь, что клад — это живой человек, который смотрит на тебя серыми глазами и молчит.

Грант стал приходить в бар «У Тима» по вечерам. Не для того, чтобы следить за Анной, нет. Просто он знал, что она там. Иногда он садился за дальний столик и слушал джаз. Смотрел, как она пьёт красное вино маленькими глотками. Она не замечала его. Или делала вид, что не замечает.

Но однажды, когда Лев закончил играть, Грант подошёл к пианино и сказал:

— Сыграйте что-нибудь из Египта. Что-нибудь легкое. Только не современное.

Лев удивлённо посмотрел на него, но кивнул. И заиграл мелодию, которую Грант никогда не слышал — странную, тягучую, как песок под ветром.

Анна застыла с бокалом у губ. Она смотрела на Гранта, и в её взгляде было столько боли, что он чуть не встал и не ушёл. Мелодия попала ему в самое сердце.

И он остался. Он всегда оставался. Потому что он был археологом, а археологи не отступают. Они ждут.

На следующее утро он снова ждал её в кабинете. Она вошла с ведром. Он подошёл к ней и тихо сказал:

— Я знаю, кто вы. Я не знаю, как это возможно, но я знаю. Вы видели её. Вы знаете, где она лежит. Я прав?

Анна подняла на него глаза. И сказала единственное, что могла сказать:

— Да. Знаю. Но я не скажу. Не имею права.

Грант улыбнулся. Впервые за четыре года.

— Я и не прошу. Я просто хочу быть рядом. Я хочу знать, что она есть. Хотя бы в вас. В ваших мыслях.

Анна молчала долго. Потом взяла тряпку, отжала и сказала:

— Тогда помоги мне помыть полы. Это единственное, что я могу дать сейчас.

Он взял швабру.

— Хорошо из уважения к вам, в этот раз пусть будет так. Пусть и давно я этого не делал.

И они стали работать вместе — археолог и уборщица, искатель и хранительница, человек, который родился, и женщина, которая не умирала.

За окном сиял Нью-Йорк — город, построенный на руинах чужих надежд. Но для Гранта он стал городом, где он наконец нашёл не гробницу, а причину жить и надеяться.

Он не умер. Он родился заново — каждый раз, когда она смотрела на него.

Глава 4. Вода из-под крана и вода из Нила

У Анны в комнате нет горячей воды. Только ржавая холодная, которая течёт из крана тонкой струйкой с таким усилием, будто ей тоже трудно просыпаться по утрам.

Комната помнит больше, чем Анна. Стены покрыты паутиной трещин — они расходятся от потолка к полу, как карта рек, которые пересохли задолго до того, как она здесь поселилась. Краска на подоконнике вздулась пузырями и облупилась, обнажая тёмное, трухлявое дерево. Половицы скрипят под каждым шагом — негромко, жалобно, как будто они тоже устали нести тяжесть чужих жизней. Ступени на лестнице стёрты до блеска тысячами ног, которые поднимались и спускались, и никто из них не остался. На подоконнике лежит её единственное зеркало — маленькое, в трещине, которая рассекает отражение пополам. Она смотрит в него и видит себя сразу двух: ту, что была в Александрии, и ту, что стоит здесь. Они не сходятся. Трещина между ними становится всё шире. Комната тоже стареет — не так, как люди, а медленнее, незаметнее. Она не покрывается морщинами, она покрывается пылью. Анна знает: когда-нибудь и эта комната станет руиной. Но она останется. Она всегда остаётся.

Она наливает в стакан, смотрит на мутную взвесь — известка, ржавчина, осколки чужих труб, — и ждёт, пока осядет. Через пять минут вода становится прозрачной. Анна за-

жмуривается и пьёт её маленькими глотками.

Она зажмуривается, чтобы не видеть, как вода мутнеет. Но запах хлорки остаётся — он въелся в её кожу, как въедается запах дыма в старые шторы. Иногда ей кажется, что она пахнет хлоркой даже во сне. Этот запах преследует её повсюду: он в её халате, в её волосах, в её дыхании. Она пробовала мыться с мылом, с уксусом, с дешёвым одеколоном из аптеки — ничего не помогало. Хлорка оставалась, как остаётся имя, которое ты носишь слишком долго, и уже не помнишь, каким оно было до тебя.

Вкус — железо и хлорка. Она помнит воду Нила — тёплую, сладковатую, с запахом ила и лотосов. Ту воду можно было пить прямо с ладони, и она не оставляла налёта на языке. Вкус ее был приятный. Каждое утро она спускалась к реке с кувшином. Клеопатра любила утреннюю воду — она говорила, что в ней сила Осириса, который каждую ночь умирает и каждое утро рождается заново.

Анна ставит пустой стакан на подоконник и смотрит на Нью-Йорк. Утро серое и туманное как недосказанная мысль. Где-то внизу сигналят машины, и этот звук похож на крик чаек в гавани Александрии.

Иногда она не спит по ночам. Не потому, что ей снятся кошмары — она давно забыла, что такое сны. Просто тело отказывается закрывать глаза, когда за окном ещё не начало светать. Тогда она садится на подоконник, поджигает коле-

ни к груди и смотрит на огни города. Они не похожи на звёзды — они слишком правильные, слишком ровные, как будто кто-то разложил их по линейке. Но Анна любит их за это. В них нет хаоса. В них есть порядок, которого не хватает её жизни. Она держит в руках кружку с холодным чаем — она не пьёт его, просто греет ладони о керамику. Чай остыл давно, ещё вечером, но она не замечает. Она слушает, как дышит город. Он дышит тяжело, как старик, который поднимается по лестнице, останавливаясь на каждой ступеньке. Где-то внизу хлопает дверь подъезда — звук сухой, короткий, как выстрел. Где-то далеко сигналит машина — один раз, потом другой, потом тишина. Анна закрывает глаза и позволяет этим звукам течь сквозь неё, как воде сквозь пальцы. Она не считает минуты. Она не ждёт рассвета. Она просто сидит и знает, что время идёт. Оно всегда идёт. Даже когда она не двигается, даже когда город замирает в своей бессоннице. Она чувствует, как секунды оседают на её коже, как пыль на старой мебели. И это единственное, что остаётся неизменным. Это единственное, что она может назвать своим.

Она долго не решается идти к Гранту. Вчера она сказала ему слишком много. Мое знание, моя вечная ноша. Он догадывается. Она никогда не произносила этих слов вслух. О том что она помнит. Даже самой себе. Теперь они висят в воздухе, как коптский текст на старой стене.

Но что-то тянет её. Не любопытство, не страх, а странная, почти забытая нежность — как будто она снова держит за руку того римского писца, который учил её греческому у коловца.

Она все же идёт в небоскрёб. В лифте она поднимается на сороковой этаж. Дверь в кабинет приоткрыта. За столом — пусто, но в кресле у окна сидит Грант. Он не спит. Он смотрит вниз, на серые волны Гудзона, которые сегодня особенно похожи на Нил — такой же мутный, такой же медленный, такой же вечный.

— Входите, миссис, — говорит он, не оборачиваясь. — Я знал, что вы придёте.

Она встаёт у двери. В руках у неё нет ведра. Сегодня она пришла не работать.

— Я хочу показать вам кое-что, — говорит она.

Она достаёт из кармана пальто старую монету. Бронзовую, с отбитым краем. На ней — профиль женщины с коброй на лбу. Грант подходит, не спеша берёт монету дрожащими пальцами. Он смотрит на неё так, как смотрят на реликвию в музее, а потом поднимает глаза на Анну.

-нибуддьу

— Я получила её в тот день, когда она умерла. Она велела мне хранить её, чтобы я всегда помнила, что есть вещи дороже денег.

Грант молчит. Он переворачивает монетус обратной стороны -буквы, стёртые почти до гладкости. Он не может их разобрать, но она знает: там написано «Жизнь — это сон, который снится себе сам».

— Вы хотите сказать, что вы...не может быть... — он не договаривает.

— Я хочу сказать, что я была там. Что я держала её руку. Что я слышала её последнее слово. Не «Рим», не «Антоний», а «Никогда». Она сказала: «Никогда не забывай меня, моя девочка. И тогда я никогда не умру».

Анна замолкает. В кабинете тихо, только часы на стене мерно отсчитывают секунды, как песок в стеклянном клепсидре.

— Я не прошу вас найти ее гробницу, — говорит она. — Я лишь попрошу вас не искать её. Там, где вы ищете, нет ничего. Пустота. Пыль. Я сама и есть это место, которое вы

ищите.

Грант опускается на стул. Задумывается. Он не выглядит разочарованным. Наоборот — в его глазах зажигается тот странный свет, который бывает у людей, нашедших что-то, неожиданное то, чего никогда не искали.

— Тогда позвольте мне просто быть рядом, — говорит он. — Я больше не археолог. Я просто человек, который хочет знать, как пахнет Нил. Как звучит смех Клеопатры. Как улыбается тишина, когда ты пьёшь воду из старого кувшина.

Она кивает. Медленно, почти незаметно. И подходит к столу, наливает два стакана воды из графина — той самой холодной, нью-йоркской. Она протягивает один Гранту.

— За Нил, — говорит она. — И за Гудзон. Они текут в одном времени. Так было всегда. Просто мы не умеем этого видеть.

Они пьют молча. Вода пахнет хлоркой, но Анна чувствует запах лотосов. Ила и солнца. Жаркий ветер из пустыни. И где-то далеко, за стеклом небоскрёба, в недрах этого безразличного города, ей слышится женский смех — низкий, бархатный, такой знакомый. Такой манящий.

Вечером она сидит в баре «У Тима». Лев играет блюз, медленный и тягучий, как пустыня. Анна заказывает красное вино, но не пьёт — смотрит на тёмную жидкость, в которой отражаются огни города.

Лев подходит после выступления. Садится напротив, берёт её стакан, отпивает глоток.

— Ты сегодня странная, — говорит он. — Словно пришла из моего сна.

— Я всегда прихожу из сна, — отвечает она. — Ты не знаешь.

— Расскажи о себе

Она качает головой. Как объяснить этому человеку, что она старше его на две тысячи лет? Как сказать, что в каждой капле воды, которую она пьёт, она видит Нил, а в каждом дожде — слёзы древних богов?

Вместо этого она говорит:

— Я из места, которое можно найти только в памяти. Из

города, которого больше нет. Но он остался во мне, в моей памяти — весь: от маяка до последней ступени храма.

Лев смотрит на неё с тоской и пониманием. Он знает только половину, но этого ему достаточно.

— Россия тоже исчезла, — говорит он. — Та, что была моей. Теперь остался только джаз и дым. Память обязывает быть осторожным.

Она кладёт свою руку на его. Тепло. От него исходит живое тепло, которое не имеет срока годности.

— Тогда давай не будем искать прошлое, — говорит она. — Давай просто пить это вино из этого стакана и помнить, что и она когда-то была дождём.

Он не отвечает, просто сжимает её пальцы. За окнами идёт дождь, и Анна смотрит на него и видит не воду с неба, а тёплые струи Нила, которые касаются её ног, когда она стоит на причале и ждёт корабль, который привезёт царицу домой.

Дождь идёт. Она улыбается. И мир становится чуточку меньше — всего лишь комната, двое людей и стакан вина, в котором отражается целая вечность.

Глава 5. Три столбца на папирусе

Папирус лежал на столе, как распятое тело Христа. Грант разгладил его влажными пальцами — осторожно, почти нежно, как гладят лицо спящего младенца. Он боялся повредить волокна, даже если они пережили два тысячелетия и вряд ли боялись его прикосновений.

Анна стояла рядом. Она не смотрела на папирус — она смотрела в окно, где серое небо смешивалось с железными крышами домов, и ей казалось, что она видит не город, а туман над пустыней, в котором исчезают караваны.

— Я хочу, чтобы вы прочитали мне, — сказал Грант. — Не всё. Только первый столбец. То, что я уже знаю, но хочу услышать, как это звучит из ваших уст.

Она повернулась. Взяла папирус в руки — легко и привычно, как берут старую фотографию. Пальцы её скользнули по коричневой поверхности, и она почувствовала подушечками те же неровности, что и тогда, когда писала эти знаки стилем.

— Первый столбец, — начала она. — Это перечень даров.

То, что Клеопатра приказала взять с собой в загробный мир. Золото, благовония, амулеты. Список длинный, но он не важен. Это просто утварь.

— А второй? — спросил Грант.

— Второй — это проклятие. Предупреждение. Она пишет: «Тот, кто потревожит мой покой, будет жить в вечном страхе. Он увидит лица всех, кого любил, и они будут плевать на него вечно. Он будет искать и не найдёт. Он будет кричать, и никто не услышит». — Анна подняла глаза. — Это не магия, мистер Грант. Это предупреждение. Она знала, что её будут искать. Она хотела предупредить.

Грант кивнул, но в глазах его горел тот же огонь. Он не боялся проклятий. С ними он был знаком давно. Он боялся только одного — что эта тайна умрёт вместе с ней.

— Третий столбец, — сказал он. — Тот, что я не могу прочитать.

Анна замолчала. Она долго смотрела на строки, начертанные её собственной рукой. Она помнила каждую букву. Она помнила, как в ту ночь, когда город уже горел, она сидела в комнате без окон и писала эти строки под диктовку Клеопатры.

— Третий столбец, — повторила она, и голос её стал тише. — Это не карта. Это письмо. Клеопатра писала его не для археологов и не для потомков. Она диктовала, а я писала его для одной женщины. Для меня.

— Для вас?

— В этом тексте она говорит со мной «Ты не ищи моё тело. Оно исчезнет. Ты помни меня, и я буду жить. Там, где твоя память, — там моя гробница. Каждый раз, когда ты будешь пить воду из Нила или смотреть на закат, я буду с тобой. И не позволяй никому найти то, что я спрятала, потому что, если они найдут меня мёртвой, они перестанут искать меня живой».

Грант откинулся на спинку стула. Он смотрел на Анну, и в глазах его было не разочарование, а благоговение.

— Она любила вас, — сказал он.

— Она любила всех, кто был рядом. Но она сильно боялась одиночества. Она знала, что умрёт, и хотела, чтобы кто-то помнил её не как царицу, а как женщину. — Анна положила папирус на стол. — Я ношу её в себе. Она прижала руку к груди. И этого достаточно.

Они сидели молча. Часы мерно тикали. Отсчитывали время. В комнате пахло пылью и старым деревом. Грант взял стакан воды, но не пил — просто держал его в руках.

— Тогда я больше не стану искать гробницу, — сказал он. — Я буду искать в вас. То знание. Те воспоминания. И если вы позволите, я буду записывать то, что вы помните. Как историк. Как друг. Как археолог.

Анна спокойно взглянула на него. В этом человеке было что-то от римского философа — та же спокойная решимость, то же уважение к чужой боли.

— Вы не сможете записать всё, — сказала она. — Это займёт больше времени, чем у вас есть.

— Я не тороплюсь, — ответил он. — У меня впереди еще осталось немного жизни.

Она улыбнулась. Впервые за долгое время — искренне, почти по-детски. И сказала:

— Хорошо. Тогда начнём сегодня. Но не с папируса. С самого начала. С того дня, когда я впервые увидела её.

Она села в кресло напротив, сложила руки на коленях. За окном шёл дождь, и капли стекали по стеклу, как слёзы. Она закрыла глаза и начала говорить.

— Вы хотите знать, — сказала Анна, не оборачиваясь, — какой она была на самом деле. Не той, которую показывают в музеях. Не царицей из учебников. Просто женщиной.

Грант протянул ей стакан с виски.

Она взяла, сделала глоток и поморщилась — виски был слишком дешёвым, слишком резким, но другого у него не было.

— Я впервые увидела её, когда ей было семь лет. Я была рабыней, гречанкой из бедной семьи — мы жили в каморке у городской стены, где пахло рыбой и мочой, и я мыла посуду в доме торговца. В один из дней меня послали во дворец — подать воды на пир. Я стояла у колонны, сжимая кувшин так, что пальцы побелели, и боялась поднять глаза. А она сидела в огромном зале, маленькая, худая, с огромными чёрными глазами, и смотрела на меня.

Анна замолчала, глядя в стакан, как будто видела там что-то, чего не могли видеть другие.

— Клеопатра спросила: «Ты боишься меня?» Голос у

неё был тонкий, звонкий, как у ребёнка, который играет во взрослую. Я не знала, что ей ответить. Я просто смотрела в пол и молчала. А она рассмеялась и сказала: «Не бойся. Я тоже боюсь. Только я не могу показать это. Если я покажу, что боюсь, меня съедят. Они только того и ждут». Ей было семь лет. Семь лет — и она уже знала, что мир — это арена, в которой ты или охотник, или добыча.

Анна поставила стакан на подоконник и закурила сигарету. Дым поплыл к потолку, смешиваясь с запахом старого дерева и влажной штукатурки.

— Её мать умерла рано. Отец был занят войнами и заговорами — он редко видел детей. Она росла одна, среди евнухов и наставников, среди книг и карт. Она училась говорить на семи языках — не потому, что была гением, а потому, что знала: если ты не понимаешь врага, ты уже мёртв. Она заучивала имена римских сенаторов так же, как мы заучиваем расписание поездов на вокзалах. Она знала, что каждый из них может стать её убийцей.

Грант подался вперёд. Он смотрел на Анну с тем же жадным вниманием, с каким смотрел на древние папирусы.

— Она не была красивой в том смысле, в каком красивыми бывают статуи. У неё был длинный нос, немного тяжёлый

подбородок, и она была слишком худа. Но когда она входила в комнату, все замолкали. Это была не красота — это была сила. Она умела смотреть так, что человек чувствовал себя прозрачным, как вода. Она умела молчать так, что ты начал говорить, сам не зная зачем. И она умела любить. По-настоящему так чтобы сгорать до конца до остатка. Она это умела. Это был ее дар. Ее проклятие.

— Она любила Цезаря, — сказала Анна. — Не так, как любят мужчину. Она любила его, как солдат любит командира, как корабль любит капитана. Он был тем, кто видел в ней не царицу — он видел в ней равную. И это было самым опасным, что могло с ней случиться. Потому что, когда он умер, она потеряла не любовника — она потеряла опору. Она осталась одна, с ребёнком на руках, в городе, где каждый хотел, желал ей смерти.

Анна затянулась сигаретой, и дым вырвался из её губ длинной, неровной струёй.

— Когда она бежала из Рима после убийства Цезаря, я была с ней. Мы мчали по ночным улицам, и она прижимала Цезариона к груди так, что он не мог дышать. Я слышала, как его сердце билось — быстро-быстро, как у зверька, который чувствует опасность. Она не плакала. Она не плакала, когда увидела тело Цезаря. Она не плакала, когда корабль отходил

от римского берега. Она плакала только ночью, когда думала, что я сплю. Я лежала на палубе и слышала её тихие всхлипывания, смешанные с шумом волн. Это был единственный звук, который я не могу забыть.

Анна замолчала, и в комнате стало тихо. Только дождь стучал по стеклу, как пальцы старого пианиста по клавишам.

— А Антоний? — спросил Грант.

Анна усмехнулась — горько, безрадостно.

— Антоний был другим. Он был солдатом, который любил победы, вино, женщин и войну. Он не был умным, как Цезарь. Он не был хитрым, как Октавиан. Он был просто сильным и добрым — как большая собака, которая готова умереть за того, кто её погладит. И она полюбила его. Не за ум, не за власть — за глубину его сердца. За то, что он не играл в игры. Он просто был рядом. Жил и дышал с ней рядом. Когда он смотрел на неё, он не видел царицу. Он видел женщину, которая устала.

— И он проиграл из-за этого, — сказал Грант.

— Да, — ответила Анна. — Он проиграл. Но он был счастлив. Он был счастлив, когда умирал. Я видела его лицо

после битвы при Акциуме — он не боялся. Он смотрел на неё и улыбался. Он знал, что она сделает всё, чтобы сохранить его память его любовь. И он был прав.

Анна затушила сигарету, взяла стакан с виски и выпила залпом.

— Она выбрала смерть, — сказала Анна, глядя на пустой стакан. — Не потому, что боялась Октавиана. Она боялась только одного — что её сделают символом. Что её выставят в цепях, как трофей, как доказательство победы Рима. Она хотела быть царицей до конца. И она была ею.

Анна подняла голову, посмотрела на Гранта. В её глазах не было слёз — только сухая, твёрдая боль воспоминаний.

Она глубоко вздохнула, и её плечи чуть дрогнули.

— Я не говорю с ней по ночам. Не потому, что мне до сих пор больно. А потому, что, когда я говорю о ней, я снова чувствую её руку на своём плече, слышу её голос, который говорит: «Ты справишься, моя девочка. Ты справишься».

Она повернулась к окну. Дождь стихал, и в сером небе показался бледный луч солнца.

— Она была не идеальной. Она была живой. Она ревновала, она злилась, она боялась. Она могла быть жестокой с врагами и бесконечно нежной с теми, кого любила. Она была человеком. И лучшей женщиной из всех нас. И она заслуживает, чтобы её помнили не как богиню, а как ту, которая просто хотела быть счастливой.

Анна взяла еще сигарету, закурила и посмотрела на дым, поднимающийся к потолку.

— Вы спрашиваете, какой она была. Она была мной. Всё, что я помню, — это она. Я ношу её в себе, как носят шрам, который никогда не заживает. И я не хочу, чтобы он зажил. Потому что, если он заживёт, я потеряю её окончательно.

Грант поднялся, подошёл к ней и положил руку на плечо. Анна не обернулась, но её плечи чуть расслабились.

— Она была сильной, — сказал он. — Как вы

Анна усмехнулась.

— Я не сильная. Я просто умею терпеть. Это разные вещи.

— Я хочу выпить, — сказала она. — За неё. За всех, кто ушёл. И за тех, кто остался.

Грант поднялся, взял бутылку виски и разлил по стаканам. Они выпили молча, и Анна смотрела в окно, где уже зажигались огни города.

— Она была женщиной, которая знала, что мир — это только мнение, — сказала Анна. — И она выбрала своё мнение. До самого конца.

Она подняла стакан к свету, и виски казалось золотым, как песок в пустыне.

— За Клеопатру, — сказала она. — За женщину, которая научила меня не бояться смерти. За то, что она была. За то, что она навсегда останется в моей памяти.

Она выпила и, глядя на пустой стакан, добавила шёпотом:

— Ты не умерла, моя царица. Ты просто ушла вперёд. И я догоню тебя. Когда-нибудь. Не сейчас. Но когда-нибудь.

— Вы любили её, — сказал он, когда она замолчала.

— Я была её тенью. — Анна открыла глаза. — Но тень иногда любит свет. И он согревает её.

Она встала и подошла к окну. Нью-Йорк тонул в сером тумане. Но ей казалось, что она видит Александрию — ту, которой уже нет. И где-то в толпе, среди белых колонн и кораблей, идёт женщина в золотой маске и манит её за собой.

— Скоро я расскажу вам про Марка Аврелия, — сказала она. — Он научил меня не бояться. Но на сегодня достаточно.

Она взяла своё пальто, надела его и вышла. Грант остался сидеть с папирусом в руках. Он смотрел на три столбца, и теперь они не казались ему шифром. Они казались письмом — от женщины к женщине, от прошлого к настоящему.

Он аккуратно сложил папирус, убрал в ящик стола и тоже подошёл к окну. Внизу, на улице, шла Анна — маленькая фигурка в сером плаще, такая же незаметная, как и любая другая уборщица в этом городе.

Но он знал, что в ней — целая эпоха. И он поклялся себе хранить этот секрет так же бережно, как она хранила его две тысячи лет.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ИСТОРИЯ КЛЕОПАТРЫ

Глава 6. Та, что родилась в Александрии

Дождь в Нью-Йорке шёл уже четвёртый день.

Анна закрыла глаза, и в шуме дождя ей слышался другой звук — плеск волн, крик чаек, и далёкий голос, который она не слышала две тысячи лет, но помнила так, будто он звучал вчера.

— Ты знаешь, как пахнет Александрия? — спросила её Клеопатра однажды. — Не та, которую показывают чужеземцам, а та, в которой жили мы и наши мечты. Утром она пахнет хлебом и морем. Днём — пылью и потом. А ночью — жасмином и страхом.

Александрия была большим, шумным, грязным и прекрасным городом. Она лежала на самом краю мира, где песок встречался с водой, где греческие колонны стояли рядом с египетскими обелисками, где на одной улице можно было услышать греческий, латынь, коптский и еврейский — и всё это звучало как музыка.

Во дворце было просторно, но холодно. Мраморные по-

лы, высокие потолки, и ветер, который задувал в коридоры с моря и шуршал занавесками из грубого льна. Анна впервые увидела Клеопатру, когда той было семь лет.

Маленькая, тонкая, с огромными чёрными глазами, которые смотрели на мир с той смесью любопытства и недоверия, которая бывает только у детей, рано понявших, что они не такие, как все. Она стояла у окна, вцепившись пальцами в подоконник, и смотрела на море.

— Оно никогда не кончается, — сказала она, не оборачиваясь. — Я хочу знать, что там, за ним.

Анна, которая тогда была просто рабыней-гречанкой, принесла в комнату кувшин с водой и замерла.

— Там Рим, госпожа, — сказала она. — И другие земли.

— Я знаю, что там Рим, — ответила девочка и обернулась. В её взгляде было что-то, от чего у Анны похолодели руки. — Но я хочу знать, что там, за Римом. И потом, что за Римом. И далее, что за ним. Я хочу знать всё. О себе, о мире, обо всем.

Она не была похожа на других детей. Она не играла в куклы — она играла в карты. Не в игрушечные, а в настоящие, с которыми сидели придворные. Она подслушивала разгово-

ры отца, когда тот обсуждал дела с послами. Она запоминала имена, даты, цифры, и однажды, когда ей было девять, она поправила министра финансов, который ошибся в расчётах.

Министр побледнел и замолчал. Отец, Птолемей, впервые посмотрел на дочь с уважением.

— Ты будешь обязательно править, — сказал он. — Ты одна из нас.

— Я уже правлю, с тобой вместе — ответила она, не опуская глаз.

По ночам, когда дворец затихал, Анна часто заходила в комнату Клеопатры, чтобы проверить, не нужно ли чего. Девочка редко спала. Она сидела на кровати с книгой на греческом и читала при свете масляной лампы.

— Ты не боишься темноты? — спросила однажды Анна.

— Конечно же боюсь, — ответила Клеопатра и улыбнулась той странной улыбкой, которая всегда была в её глазах — взрослой и детской одновременно. — Но я боюсь быть глупой больше. Прожить жизнь и не познать ее. А чтобы

быть умной, надо много читать. И не бояться.

Она перелистнула страницу.

— Моя мать умерла, когда я была маленькой. Я почти не помню её. Но я помню, что она сказала мне однажды: «Ты — дочь Египта. Это не страна, это сила и власть. И если ты научишься пользоваться ею, тебя не сможет победить никто, даже мужчины».

— Ты веришь в это? — спросила Анна.

— Я должна верить, — ответила Клеопатра. — Потому что, если я не буду верить в себя, в меня не поверят другие.

Она закрыла книгу и посмотрела на Анну. В тусклом свете лампы её лицо казалось бледным и хрупким, как фарфор.

— Ты останешься со мной, да? — спросила она. — Ты будешь рядом, когда я стану царицей?

— Я буду рядом, госпожа, — ответила Анна. — Я всегда буду рядом.

Годы шли. Клеопатра росла. Она выучила греческий, египетский, арамейский, иврит. Она знала больше, чем все её наставники и учителя вместе взятые. Но она была девочкой. И при дворе, где мужчины решали всё, это было её проклятием.

Однажды, когда ей было двенадцать, она пришла к Анне в слезах. Закрыла дверь, прижалась спиной к стене и прошептала:

— Сегодня брат сказал, что я слишком умна для женщины. Он сказал, что никто не захочет на мне жениться, потому что своим умом я буду его позорить.

Анна подошла к ней, обняла. Клеопатра была холодной, как мрамор.

— Ты не должна слушать его, — сказала Анна.

— Я не слушаю, — ответила Клеопатра и вытерла глаза. — Но, когда я слышу это, я чувствую, что я одна. Что никто не поймёт меня.

— Я понимаю, — сказала Анна.

Клеопатра посмотрела на неё. В глазах девочки зажглась

искра — та самая, которую Анна видела потом в каждом её взгляде, когда царица принимала решения, от которых зависели судьбы ее народа.

— Ты правда понимаешь?

— Я рабыня, госпожа, — сказала Анна. — Я знаю, что такое быть той, кого не замечают. Но я замечаю тебя. И я никогда не забуду тебя.

Клеопатра улыбнулась. Впервые за этот день — настоящей, детской улыбкой.

— Тогда обещай мне, — сказала она. — Если я умру раньше тебя, ты будешь помнить меня. Не как царицу. Как девочку, которая боялась, что ее забудут быстрее чем солнце сядет за горизонт.

— Я обещаю, я буду помнить— ответила Анна.

И Анна сдержала слово. Она помнила.

Анна открыла глаза. Дождь за окном стихал, и в комнате стало тихо. Она смотрела на свои руки, которые уже по-

крылись легкими морщинками, с пальцами, которые держали швабру вместо каламуса.

— Ты была девочкой, — прошептала она. — Ты боялась темноты. Ты плакала в углу, когда думала, что никто не видит. Но ты выросла. Ты стала сильной. И ты научила меня быть сильной.

Она подошла к окну, открыла его. В комнату ворвался свежий, сырой воздух. Внизу, на мокрых улицах, горели огни, и Анне казалось, что она видит Александрию — не ту, что на картах, а ту, что в её сердце. Узкие улочки, запах хлеба и моря, и маленькая девочка в белом платье, которая смотрит на море и думает: «Я хочу знать всё».

— Я помню тебя, — сказала Анна. — Я буду помнить тебя всегда.

Ветер с улицы коснулся её лица, и ей показалось, что она слышит тихий смех — тот самый, который она слышала в детстве Клеопатры, когда та бегала по дворцовым коридорам, прячась от наставников.

И Анна улыбнулась.

Она сдержала обещание.

Глава 7 Чаша вечности

Закатное солнце Египта просачивалось сквозь решётки из слоновой кости, окрашивая мраморные плиты личных покоев царицы в цвет запёкшейся крови. Анна стояла неподвижно, чувствуя, как тонкий шёлк платья липнет к её спине от липкой августовской жары. В воздухе витал тяжёлый аромат ладана и увядающих роз, смешанный с чем-то металлическим, неуловимым.

Клеопатра, восседавшая на низком ложе, не сводила с гости своих глаз, подведённых сурьмой. Она держала в руке фиалу из горного хрусталя. Внутри переливалась жидкость — неяркая, перламутровая, словно в ней растворили свет утренней луны.

— Ты думаешь, я шучу, Анна? — голос царицы звучал бархатисто, но с едва заметной стальной ноткой. — Ты провела при моём дворе три луны. Ты видела, как стареют мои служанки, как сменяют друг друга стратеги, как умирают мои враги, враги моего отца. И ни одна морщина не коснулась моего лица.

Анна усмехнулась, пряча дрожь в кончиках пальцев. Она была простой рабыней, и верила в логику, в силу простого

человеческого рассудка, но никак не в магию.

— Великая царица, — произнесла Анна, стараясь, чтобы голос звучал ровно, — я видела, как вы пьёте вино, смешанное с толчёным жемчугом, и как ваши повара добавляют золото в хлеб. Думаю, секрет вашей красоты кроется в умелых руках жрецов и в отличных генах Птолемеев.

Клеопатра тихо рассмеялась, и смех этот прозвучал как звон разбитого стекла. Она поднялась, и её одежды из полупрозрачной ткани невесомой дымкой окутали стройное тело.

— Глупая девочка, — прошептала она, приближаясь. — Ты думаешь, я боюсь смерти? Нет. Я победила её. Этот эликсир — не выдумка жрецов. Его рецепт я выкупила ценой жизни любимого евнуха. Он сделан из слёз феникса и крови последнего василиска, смешанных на закате дня, когда небо целует землю. Это священный дар Анубиса.

Она остановилась в двух шагах от Анны. От Клеопатры пахло мирабеллой и опасностью.

— Ты мне нужна, Анна. Ты смела, ты умна и, самое главное, ты чужая. Мои придворные завтра уже расскажут всем, что я сошла с ума. Мне нужны глаза, которые увидят следующий век. Твой век.

Анна перевела взгляд на фиалу -ритуальную чашу. Она помнила, как утром пила молоко с мёдом, которое, как она подозревала, было отравлено. Она ждала яда для царицы, поданного врагами, но не этого. Она ждала шипения, горечи, ужасного вкуса. Вместо этого перед ней стоял эликсир вечной жизни.

— Надеюсь, что это не яд, намешанный врагами— тихо сказала Анна, беря фиалу в руки. Тёплый фарфор странно пульсировал, словно внутри билось сердце. — Если это обычная микстура, чтобы усыпить меня и избавиться от лишней свидетельницы, — к чему весь этот театр, о царица?

— К тому, — прошептала Клеопатра, касаясь губами уха Анны, — что у тебя нет выбора. Если выпьешь — либо станешь бессмертной, либо умрёшь быстро.

Анна посмотрела в глаза царицы. Они были бездонными, как Нил в половодье. В них не было безумия, как она ожидала. В них была древняя, усталая мудрость — и липкий страх одиночества.

«Она врёт, — стучало в висках Анны. — Всё это пыль и фокусы».

Но рука дрогнула. Она поднесла краешек фиалы к губам.

Запах был странным: мёд, металл и... пыль веков. «Ну, прощай, жизнь», — мысленно усмехнулась Анна, и сделала глоток.

Жидкость оказалась густой и обжигающе-холодной. Она не потекла внутрь, а впиталась, расползаясь льдистыми иглами по горлу, по венам, проникая в самое нутро. Анна почувствовала, как мир на миг сжимается до точки, как звуки мраморного зала гложут, а свет заката становится невыносимо ярким.

Она упала на колени, хватая ртом воздух, ожидая судорог или жара. Но пришла лишь странная лёгкость. Боль в спине, мучившая её последние дни от долгого сидения, ушла. Ушла сухость в глазах. Ушла тяжесть в ногах. Руки уподобились крыльям чайки.

— Ну как? — спросила Клеопатра, склоняясь над ней.

Анна медленно подняла руки. Кожа на них осталась прежней, но ей казалось, что она видит не просто свет, а структуру света. Она видела, как пылинки танцуют в воздухе, слышала, как где-то в дворцовом саду лопается бутон.

— Это... не больно, — прошептала Анна с удивлением.

Клеопатра хотела что-то сказать, но Анна вдруг увидела, как время вокруг неё треснуло, как старая амфора. Вместо закатного огня перед глазами встал полумрак других покоев — знакомое ложе, на нём неподвижное тело царицы, у руки — чёрный аспид. Рядом стоял римский легионер, глядя на мёртвую женщину с хмурым презрением, и молодая рабыня, вытирающая слёзы краем, покрывала.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.